

Александр Селисский

Трофим

и

Изоolda

Александр Селисский
Трофим и Изольда

«Книга-Сэфер»

2007

Селисский А.

Трофим и Изольда / А. Селисский — «Книга-Сэфер», 2007

История Любви мужчины к женщине, случившаяся в стране, которой уже нет.

Не случайно герои романа так или иначе, связаны с Цирком – миром вечного праздника и тяжелого труда. Таков и роман – жесткий, бескомпромиссный, правдивый, порой до озноба, вызывающий у читателя слезы и от хохота и от горести. Но, пожалуй, самое главное, что выделяет роман Александра Селисского, – это безукоризненный русский язык, на котором он написан. Стиль фраз, диалоги, авторские отступления поначалу вызывают ассоциации с лучшими страницами Булгакова. Но это не подражание, это текст подлинного Мастера.

© Селисский А., 2007

© Книга-Сэфер, 2007

Содержание

Первая глава	5
Вторая глава	20
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Александр Селицкий

Трофим и Изольда

Первая глава

Мы на лодочке катались...

Старинная рукописная книга выходила in folio – тиражом один экземпляр и стоила бешеных денег. Покупал её владетельный сеньор, он же аристократ духа. Сеньоры победней грамоте не знали, обходясь пересказом заезжего менестреля:

«Слушайте, сеньоры, слушайте! Хотите ли вы услышать прекрасную песнь о любви и о смерти? Это роман о Тристане и Изольде. В огромной радости и в печали великой героини любили друг друга и умерли оба в один день – он из-за неё, она из-за него. Слушайте, сеньоры, слушайте! Роман о Тристане и Изольде! Торжественно, страстно, красиво. Любовный напиток. Высокий стиль. Имя Тристан означает «печальный». Слушайте, сеньоры, слушайте!»

Рыцарский роман, ах, рыцарский роман! Закован в стальные латы, с мечом у пояса и копьём в руке герой уже прославил своё имя в боях с врагами и с друзьями, но во славу сюзерена и в честь Прекрасной Дамы готов снова драться и с теми, и с другими. В битве ли, на турнире конь его тоже в латах и тоже имеет собственное имя. Имеет его даже меч, предпочтительно волшебный. Герой побеждает всё, скачущее навстречу, но если долг с высокой любовью вступают в конфликт, ему приходится умереть. Иначе нельзя остаться благородным рыцарем, рыцарем без страха и упрека, рыцарем из рыцарского романа.

История шла на трёх опорах: огонь, колесо и печатный станок Гутенберга. Поэты сочиняли героев, события, целые миры, случалось, и самих себя, но всегда и постоянно, сегодня, как и встарь существует «объективная реальность, данная нам в ощущении», – читатели. Стопроцентно грамотные массы. Сверкающие мечи и топот копыт заменил преферанс в напряжённой тишине и сигаретном дыму. Трагедии случаются и здесь... но карточные сражения не моя тема. Хоть она не хуже и не лучше всякой другой, важно лишь «изображение типических характеров в реальных обстоятельствах при верности деталей». Реализм! На страже стоит критик – читатель с заранее обдуманном намерением... что, согласно юриспруденции, безусловно усугубляет, да... Только так, и ни вправо, ни – упаси Господи! – налево. Ибо кто хочет отстать от времени? Роман утратил аристократическую изысканность вступлений «Слушайте, сеньоры, слушайте» – всё теперь начинается сразу. Быка, так сказать, за рога. Стихи заменила проза и герой просто один из нас не в шлеме, а в шляпе. Даже лучше просто в кепке. Но имя его, Трофим, отдалённо созвучно древнему Тристану и потому вроде бы причастно Истории, в которой мы все, как нам хочется думать, размещены – притом, что имя это ничего не означает и может принадлежать каждому из множества простых, ежедневных Трофимов. Любого вида, склада и народа. Наш в меру высок, сероглаз и носит модную, но ещё жидкую бородёнку – сам, однако, именуется её серьёзно «борода». Как и Тристан, Трофим сирота, но родителей потерял не в рыцарском бою на бранном поле, а тут же, не выходя из дому. В день великого пролетарского праздника. Седьмого Ноября папа с мамой закусили водочку грибочками собственного сбора, собственноручно же и замаринованными. Мамочка отошла сразу, а папу долго рвало зелёным и жёлтым, но и он скончался в страшных судорогах. «Скорая помощь» не помогла, доктор только заметил, вздохнув, что маме, вероятно, досталось граммов сто, а папе четыреста. Спирт, как известно, дезинфицирует, и папин организм боролся с отравой дольше. Выпей он один всю бутылку и, весьма вероятно, был бы жив – тут доктор вздохнул ещё раз. Но как знать, где упадёшь, куда постелить солому? Родственники тут же оттяпали у сироты комнату для

четвероюродной сестрички: «Ей так нужна жилплощадь: она вот-вот выходит замуж, совсем вот-вот и даже уже беременна!» Замуж сестричка не вышла, но беременна была, что правда, то правда. И родила мальчика. Красивый толстый парниша весом 4 кг. А Трофима послали к дяде. И он поехал – между прочим, как и Тристан, именно к дяде, только не верхом поехал, а на трамвае. Без меча и доспехов, с билетом за три копейки. Здесь я начинаю своё, вполне современное, повествование.

Парадное воняло кошками, но в квартире был свежий воздух и стоял запах мужского одеколona. Дверь, окованная сталью и снабжённая тремя замками, отделяла прихожую от парадного, квартиру от государства и частную жизнь от общественной. Наружу она выходила чёрным дерматином а в прихожую, именуемую «холл», жёлтой кожей. Известно, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя – в двери блестело волшебное стекло. Да, да, волшебное! И не улыбайтесь.

Пора, пора сложить балладу о дверном глазке. Я имею в виду не «волчок» в тюремной камере, о нём-то и написано, и спето, а изобретённый недавно, чуть ли не позднее атомной бомбы! – глазок с линзой в двери обыкновенной квартиры. Не для того, чтобы смотреть внутрь, наоборот: в стекле видна лестничная площадка. «Кто это к нам звонит? Желателен ли гость? Вдруг милиция или, не к ночи будь помянут! – финансовый инспектор? Тихо! Не трогать выключатель. Позвонят и перестанут». А в общем дом был как дом, квартира как квартира. И жил в ней не фальшивомонетчик, не содержатель подпольного притона, не торговец наркотой, а всего-то навсего врач стоматолог с королевским именем Марк. Он же Марк Самойлович, он же дядя Марик. Для кого как. Не только жил, но и лечил. В этом всё дело.

Осторожность была вынужденной.

В эпоху, что мы вспоминаем, в державе, сотрясавшей царства и народы, понятие «частник» считалось преступным. Всё было государственным. Когда б не заболели ваши зубы, лечили их только в государственной поликлинике и в рабочее время: столько-то минут, в среднем, на пациента, согласно финансовому плану. И если кто-то просидит в кресле дольше положенного, на следующем больном время сэкономят. За смену государственный врач обслуживает икс больных в точности, как государственный токарь вытачивает игрек деталей. Зарплата у врача тоже государственная, на неё финские обои не купишь и даже польские брюки еле-еле. Буде же, принимал он больных дома и за свой труд – сколь ни был он благороден! – брал деньги, это называлось «частная практика» и грозило тюрьмой. «Закон суров, но это закон!» – утверждали древние. «Закон подобен столбу: его не перепрыгнешь, но можно обойти», – возразили новые. Обходили «столб закона» осторожно, кроме линзы с цепочкой нужны были связи, хлопоты и серьёзные деньги. Ради которых закон, конечно же, снова обходили. И так далее....

Пришедшему впервые пациенту дверь тоже навстречу не распахивалась. Темнел глазок. Внутри щёлкало. Дверь открывалась на длину цепочки. Не цепочка – цепь. Тяжёлая, кованная с узором тонким и изящно-неприличным. Обошлась доктору всего в пол-литра: бомжи спёрли в старом доме и отдали, не торгуясь. Цепь и линза – да-да, волшебная, что ни говорите, линза! – охраняли покой доктора.

– Я от Ивана Ивановича...

Годились Пётр Петрович и Сидор Сидорыч, а уж Арон Моисеевич был вовсе хорош – только бы знали их и считали надёжными поручителями. Как огня боялся доктор огласки, за которой могла последовать встреча с фининспектором, с милиционером, с прокурором, но, чу! – ходили слухи, будто прокурор здесь уже побывал. В качестве пациента. Глубокой ночью, потому что боялся огласки ещё больше, чем доктор. Или нет у прокурора врагов и завистников, жаждущих «подать сигнал»? О том, что: «Товарищ прокурор пользуется, следовательно, необходимо заметить, – одобряет, откуда ясно, что пренебрегает, а потому не имеет права...» Но я слухам не верю и вам не советую. Потому что если верить слухам, до чего ж дойти можно?

Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда! – сказал доктор Чехов. У которого, кстати, тоже была частная практика.

Но вы не прокурор, надеюсь? И так...

– Я от Ивана Ивановича.

Ах, это волшебное слово, Господи, Боже ты мой! Государство или, во всяком случае, значительная его часть стояла на этом слове. И государства уже нет, а слово живёт! «Я от Ивана Ивановича», – и цепочка повисает, и путь свободен. «Я от Ивана Ивановича», – и в плотно забитом штатном расписании вам найдут «тёплое» место. От Ивана Ивановича? Да хоть в космос, пожалуйста! Ах, вы не в тот космос? В гостиницу «Космос»? Директором?! Добро пожаловать!

– Я от Ивана Ивановича.

Вам укажут вешалку для пальто и проводят в кабинет. Уделят столько времени, сколько нужно – не «в среднем больному», а именно вам. Вы не почувствуете боли и даже неприятного зуда ибо у доктора современнейшая аппаратура и лучшие медикаменты, в поликлиниках такое будет лет через двадцать! По плану. А здесь в наличии всё и сегодня что, разумеется, требует от пациента некоторых дополнительных расходов. И всё же вы пришли сюда, а не в поликлинику! И встретил вас, отбросив дверную цепь, герой моего повествования племянник доктора Марка и его ученик Трофим.

Дядя носил королевское имя, но, увы! – не имел королевских прав. И посвятить своего оруженосца в рыцари, то бишь, в стоматологи, не мог – для того необходимо закончить институт. Для начала, поступить! При нынешних конкурсах! И кому пять лет кормить студента? Оставалось ремесло зубного техника. Освоить его, стать дяде ближайшим помощником, то есть, в некотором смысле, именно оруженосцем, а со временем, как знать? – и компаньоном в деле. Младшим компаньоном, разумеется. Зубной техник это золотая специальность! В буквальном смысле. Покойный папочка тоже был зубным техником, так что специальность получалась наследственной. Династической, можно сказать. Как у рыцаря или принца. И Трофим нехотя брал книгу, на которой был нарисован зуб.

«Оральная», – читал он и начинал думать о приятном, но усилием воли возвращался к теме. «Оральная, оральная, оральная, тьфу – апроксимальная, нёбная, апроксимальная, губная, нёбная. Апроксимальная, ора-альна-ая», о-ох! – губная. Углы дистальный, медиальный. Медиальный, дистальный». Он поднимал глаза и... не мог повторить ни слова. Улетучилось. Всё сначала. Поехали.

Но зубрёжка ещё полбеды. Беда это гипсовый нож.

Зуб начинается с модели. На гипсовом столбике, на каждой из его шести граней чертят сторону зуба: нёбную, то есть обращённую к нёбу, губную – к губе и так далее. По чертежу вырезают модель. Специальный нож потому и называется гипсовым хотя он, разумеется, стальной. Ножом отсекают лишний гипс. По рецепту великого Родена.

Но Трофим не желал быть стоматологическим Роденом, он видел себя исключительно барабанным Паганини. Барабан и только барабан его интересовал. То есть, барабаны. Большой и маленький. А также литавры, тарелки, колокола, колокольчики. Ударная установка и оркестр, где ударник – первый человек. Линии на чертеже ползли вкривь и вкось. Столбики испорчены. Дядя недоволен. Родственные чувства и перспектива перехода иждивенца в работники вынуждали, однако, доктора проявить характер, достойный его королевского имени. Трофим помогал в кабинете: приносил, уносил, выполнял поручения. Встречал пациентов. И трижды в неделю вечерами уходил на репетиции.

– Духовые! Эту фразу, пожалуйста, одной атакой!

Руководитель оставался недоволен.

– Уже лучше, но к этому ещё вернёмся. Сейчас трубы субтоном.

Дому культуры полагался оркестр самодеятельности, и он был. Дирекция завода могла козырнуть перед районным, а то и городским руководством. Играли на собраниях и вечерах, получали премии на конкурсах. Репертуар соответствовал культурной политике, как стальные рельсы ГОСТу. На самом же деле оркестранты собирались ради «левых» концертов в дальних клубешниках где запретам вопреки лабали рок. Как и частный врач, рок-музыкант был человеком подпольным – его музыку объявили антинародной, его самого не любило правительство, руководители крупные и маленькие, а также милиция и комсомольские патрули. Зато поклонники или, по-нынешнему, фанаты, к народу почему-то не причисленные, всегда узнавали о будущем – без афиш и объявлений, разумеется! – концерте, а у фанаток загорались глаза с первыми тактами музыки. С последними же тактами фанатки были готовы... ах! Ну да-а... Да!

Левые концерты давали заработок, естественно, тоже левый, а потому Трофим, обойдя столб закона в дядином кабинете, шёл в Дом культуры к другому столбу, огибал его другой стороной и возвращался к первому до следующего раза. Трофим не был одинок, обходила законы «восьмёрками» вся страна. Может, потому и не дошла до обещанного коммунизма? Впрочем, и это не моя тема. Как трагедии в преферансе.

Репетировали на сцене. Светили редкие лампы и в зале поблескивали кресла вместо концертного, в темноту, провала. Курить строго запрещалось, но у самой кулисы пыхтел сигаретой старый гардеробщик Матвей. За глаза его называли «тётя Мотя», а в лицо дразнить стеснялись, уважая возраст. Ему уже было под восемьдесят, и работать Матвей давно не мог, но приходил ежедневно, поскольку делать ему со своей жизнью было нечего. Садился на стул верхом, обхватывая его ногами, как боевого коня, и от этого ширинка расходилась, открывая разноцветные пуговицы. Руки, сложенные на спинке стула, поросли седыми волосками, и голову окружал венчик, похожий на облако. Появлялся Матвей не в зале, а из-за кулис, как человек свой, здешний. Любил чужие сигареты, мелкие деньги – крупных не давали – и слушателей. Особенно в подпитии, как сегодня.

– Был и я музыкантом, – говорил Матвей, – скрипачом. Внизу, где лекции читают, была пивная. Мы там играли. Флейта, пианино и я. Что хочешь могли: душевную со слезой или плясовую, если кто закажет, а то и еврейскую песню, их часто играли после пасхи. На пасху бывал погром, а потом весело шли еврейские песни. Я рыжим был, и кто не знал, меня за еврея считали. Смеялись очень и чаевых давали больше, мол, раз выжил, получай. Считай – повезло. А хоть и «Боже царя храни», всё подбирали мигом. Ещё до войны я тут играл, до четырнадцатого года.

– Ну дядя Матвей, – усмехнулся саксофонист Филька, – ты, оказывается, в большом искусстве побывал. Скрипач! Матвей Ойстрах!

Филька играл на фаготе в профессиональном оркестре, а сюда ходил ради любимого «сакса».

Тётя Мотя смотрел во хмелю мутно, издёвку, однако, почувствовал.

– Сопляк, – сказал он тенором. – Дудочник вонючий. Ты жизнь проживи, дело сделай! Тогда поговорим.

– Ладно, дядя Матвей, – Фильке уже стыдно было, что старика обидел. – Ну, играл так играл. Чего особенного?

– Иди ты со своей дудкой! – тётя Мотя качнул головой досадливо. Одно тебе дело – дуй, пока не посинеешь. А тогда другое время было. Героическое время!

– Война, что ли? – опять спросил нетерпеливый Филька.

– Что война? Дал сотню, доктор определил мне грыжу, а с грыжей на фронт не брали. Дуракам лбы забрили, а я играю, как и раньше. Если голову иметь, прожить было можно. А революция, так даже весело: песни, красные банты, все говорят, никто не слушает. Сначала и гражданская ничего была, только быстро власти менялись. Я песни для каждой знал, но потом

страшно стало, и залез в соседский погреб. Сидим в темноте, ждём, когда стрельба кончится. Но стучат в люк прикладами.

«Музыканта сюда», – кричат. Знают, где я. Конечно, раз власть зовёт, хорошего не жди. Ещё и хрен его знает, какая в городе власть? Однако ж не выйти – хуже будет. Вылез. Двое стоят с винтовками. Вроде, не лютые.

«Музыка твоя где?»

Подали скрипку из подвала. Идём. Заходим в дом, раньше там заведение было не очень дорогое, и мы, бывало, хаживали. Что за дела, думаю, что, нынче девки под музыку дают? Для революционной бодрости духа? Но кругом одни мужики и все в кожаном. Штаны, ремни, фуражки из кожи. Сбоку «маузер», в руках бумаги. В комнате кровать стоит как и раньше, только была застлана и бельё в кружевах, а теперь прямо по сетке дерюжка с одной стороны грязная, видно в сапогах валялись, а с другой, где голова, толстая книга вместо подушки. Стол – не стол, а козлы и на них доска. На доске граната и пулемётная лента. Сидит кожаный, смотрит в бумагу. Водит по строчкам пальцем, губами шевелит. Я жду.

«Музыкант?»

С перепугу только головой киваю.

«Белым служил?»

Что сказать? Кто ты сам такой есть? Чья власть нынче?

«В пивной, – говорю, – играл. Грыжа у меня, – говорю. – Я всё играть умею», – а сам трясусь от страха.

«В пивной?» – И скривился презрительно, вроде как этот... – тётя Мотя мотнул головой на Фильку. – Буржуев потешал? Ну, послужишь трудовому народу. «Смело, товарищи в ногу!» знаешь?»

Где он в пивной видал буржуев? Но спорить не приходилось. Ладно, хоть понял: у красных я. Теперь могу и обратиться.

«Знаю, – говорю, – товарищ. «Смело, товарищи...» знаю и «Мы в бой пойдём за власть Советов» тоже знаю. Хоть сейчас играть». – Приврать не боялся: чего и не знал, так напой – мигом подберу.

«Иди до конца коридора и направо, в зал, – говорит. – Паёк там получишь».

И я пошёл дальше, уже без конвоя. Музыкантов собралось в зале человек двадцать. Паёк был пшено и вобла. Бачок с водой на столике стоял, и кружка жестяная привязана, чтоб не спёрли. Ещё народ привели, стал нас целый оркестр, тогда и кожаный появился. Ленту пулемётную на себя уже нацепил, граната на поясе и «маузер» на портупее. Такой у них был обычай, чтоб без оружия, значит, никуда. Хоть и в сортир, а с пушкой. Для виду, наверное, для солидности. Пришёл, стал. Смотрит грозно.

«Ну, вы, – говорит, – буржуйское отродье! Хватит вам беляков потешать, да буржуям довольствоваться. Отныне вы оркестр Рабоче-крестьянской Красной армии, какая есть армия борцов за народную свободу. Я назначен вашим комиссаром, по всем вопросам буду решать. Приказываю выучить музыку, какую надо играть при торжественных случаях, а также и на похоронах красных бойцов, геройски погибших за свободу. Кто несогласный, скажи сразу, ну!» – и он положил руку на маузер.

Несогласных не было.

Тётя Мотя замолчал, глядя на оркестрантов. Ему дали ещё сигарету...

– Сначала играли в городе, как и сказал комиссар. На митингах, на собраниях, на похоронах. Паёк нам был, а кто пообносился, так и обмундирование. Я своё, что получше, спрятал и тоже получил шинель, фуражку солдатскую и ботинки с обмотками, видно, трофейные. С японской ещё войны. Как вдруг уходят красные. Дело швах. Оно и сбежать бы можно, так ведь спросят, почему служил у красных? Время горячее, поставят к стенке и Шопен с тобой! Кто похрабрее, всё-таки смылись, а я пошёл куда повели. Тем более, мне и служба нравилась. Вроде

и красиво в строю, и воблу дают с морковным чаем. Записали нас, кто остался, в музыкантский обоз и перво-наперво стали учить езде и рубке, как считались мы теперь военные бойцы, а не просто так, оркестр. Поначалу я задницу на седле отбил, это со всеми бывает, потом пошло. Тем более – рубишь ты лозу, а сам вроде почти что герой. Оно вроде и забава, а вроде и служба. Но раз видим, идёт комиссар мрачный, за кобуру держится. Стали в строй, слушаем.

«Товарищи бойцы, – говорит комиссар, – перед лицом грозной опасности во имя народной свободы и рабоче-крестьянского дела надо, – говорит, – проявить массовый героизм. Теперь не до музыки, вашу команду переводим в строй на правах полноправных бойцов», – говорит.

И положил я скрипку в обоз. Думал ненадолго, а оказалось, навсегда, – тётя Мотя задумался, но теперь сигареты не ждал и продолжил так. – Перед боем испугался до судорог, а когда увидал человека, разрубленного пополам, вытошнило прямо с коня. Ничего, привык. О скрипке думать забыл: шашка оно куда почетнее! Государственная вещь шашка. Да война-то не навечно. Кончилась и пошли дела другие. Разбили нас на отряды; я уже взводом командовал и командиром отряда стал. Что делать, нам объяснил комиссар, всё тот же.

«Революционный народ голодает, – сказал он. – И заводы стоят, потому – людям жрать нечего. Хлеб в деревнях прячут враги молодой Советской власти. Требуется реквизировать излишки и отвозить в город».

«Что считать за излишки, – спрашиваю. – По сколько брать?»

«Чего не сожрали, всё излишки, – говорит комиссар. – Нечего кулакам жиреть за счёт рабочего передового класса».

Один ещё высунулся: «Чем платить за хлеб? Где деньги? И сколько?» Так на него комиссар зыркнул, как выстрелил.

«Я тебя за такой вопрос, – говорит, – очень свободно в революционный военный трибунал провожу. Революция гибнет, а ты про деньги? Ты кто такой есть, красный революционный боец или контра? Я тебя спрашиваю!»

Набили мы ленты патронами, снарядили обоз в деревню. Всякое там бывало: пулями нас угощали, ночью сонных в сарайчике сжечь пробовали. Ну и мы тоже пощады не давали.

И продотряды, однако, закончились, но комиссар опять за меня всё решил. Он уже был председателем трибунала и взял к себе начальником конвойной команды. Сколько я всякой контры переконвоировал – не сочтёшь. Из ЧК, из тюрьмы, откуда только не было! Сначала срока давали, а потом всё больше расстрел. Чего с ними чикаться, всё равно из буржуев и против власти Советской. Бывших офицеров я возил, и попов, и студентов – кто в революцию скрывался и вроде даже за народ стоял, но теперь, вот, выявили. А то приезжаю в НКВД, так ЧК стала называться, гляжу, что за чёрт? Комиссар! Кожанки на ём уже нет и «маузера», понятно, тоже. Морда вроде побитая и сам хромает. Ну, мое дело маленькое: расписался в получении, повёз. Молчу по дороге, опыта уже набрался. Он тоже понимал порядок: знакомый там, нет ли – на службе я. Чуть не так и подчинённые мигом доложат повыше. Привезли. Председатель, ясно, другой уже, а мы, как всегда: кто у скамьи подсудимых, кто у дверей. Я за ними приглядываю, как положено по инструкции. Сам слушаю, что прокурор говорит. Оказывается, наш комиссар только притворялся сознательным революционером, а сам действовал на руку Антанте, Японии, Польше и ещё кому-то. Я уж и забыл, давно дело было. И дают ему высшую меру – расстрел. Отвёз его назад в тюрьму, получил расписку и больше не видел. С тех пор вовсе перестал удивляться и не удивлялся, пока самого не взяли за связь со шпионом. С комиссаром, то есть. Ну, меня и не судили: принесли в камеру бумагу, там нас был целый список. По десять лет. «Подписывайте». Я рад был, что десять лет: «Ладно, – думаю, – не «вышка». Ещё поживём». Подписал и скоро потом на этап.

– Дядя Матвей, – опять высунулся неугомонный Филька, – так за что же десять лет? Почему подписал? Не жаловался?

Матвей посмотрел нехотя, похоже и не понял, о чём его спрашивают. Продолжал.

– Только привезли нас в лагерь, зовут меня в оперчасть. Опер сидит. Вежливый. Улыбается. «Такой-то, – говорит, – и такой-то?» – «Да, – говорю, – я и есть». А он папироской угощает и опять улыбается. «Ну, рассказывай» – говорит. «Что рассказывать?» – я и не понял сразу. А он: «Как «что»? С кем ехал, кто такие, про что говорили?»

Тут я всё понял. Зачем привезли меня и что делать буду. И начал. Кто из соседей Советскую власть ругал, кто на несправедливость жаловался, кто говорил, что заключённых как скот возят. Он бумагу даёт, ручку с чернилами, пиши, мол. Я написал. Договорились, что сведения буду через конвойного передавать, какого именно – потом опер скажет. А к нему не ходить, потому – зеки увидят и доверять перестанут. Там сурово было: зеки, если б поймали, могли и в выгребной яме утопить. Такое бывало. Что в конвое служил молчать надо, а говорить, что я есть командир Красной армии, осуждённый несправедливо. Для доверия, значит. Я понял, подписал что надо. Прошло немного времени, смотрю – нету уже тех, о ком я докладывал. Куда девались, не знаю. То уже не моё дело было. В этом лагере, во втором, в третьем. Зато другие как мухи мёрли, а мне и работа полегче, и жизнь поспокойнее. Отсидел и ещё десять лет там же вольным работал. Тогда и ехать разрешили. Многих отпускали, целые лагеря закрывали. Меня раб... ра... раб... раблитировали. Извинились, что без вины сидел, ну, я и так всё понимал. Денег дали. Я сюда поехал, на родину. Сын у меня здесь, взрослый уже. Да я ему что, незнакомый. Деньги разошлись, опять и скучно дома, так я сюда устроился. Всё ж среди людей. И музыку слышно. Я люблю музыку. Всю жизнь я люблю музыку...

– Тётя Мотя, – выкрикнул поражённый Филька, – так ты не скрипач, а стукач?!

Матвей помрачнел, вытянулся. Насупил брови. Таким бывал, может, когда-то перед атакой, уже сжав рукоять шашки – сейчас вперёд и смаху, поперёк чьей-то головы с оттяжкой, как на ученьи. Но не конь под ним, а стул задом наперёд, и ширинка от напряжения ещё сильнее разъехалась – нитки тянут, и разноцветные пуговицы вот-вот брызнут в стороны.

– Эти слова забудь! – сказал твёрдо. – Сопляк. Не стукач, а боец при государственном задании.

Отрезвел сразу Матвей и глаза – иголками. Встал, пошёл непривычно вытянувшись. Не за кулисы, как ходил обыкновенно, а вниз по лестничке, в зал и дальше через дверь в фойе. Будто показывал, что больше он здесь не свой. Не дойдя, однако, до двери, прямость фигуры потерял и захромал обычной своей походкой. Работать уже не хотелось. Кто-то подбирал еврейскую песню, другие сидели молча. Руководитель задумался, глядя в зал невидящими глазами. Репетиция закончилась. Пора было домой, а завтра снова зубрить «медиальный, дистальный», потом встречать пациентов, предварительно осмотрев их в дверной глазок. Он любил смотреть в глазок: человек за дверью был забавно искажён оптическим стеклом. Иногда разглядывая задерживал больного перед дверью, что было и бесчеловечно, и неосторожно. Но в прихожей посетитель становился обыкновенным, похожим на всех остальных, и даже выражение лица у всех было одинаковое: страдальческое. Ибо кто видел сияющего жизнелюба в приёмной зубного врача?

Но именно здесь Трофим встретил Изольду.

2.

Нет, нет и нет! Никаких болезней! Зубы Изольды походили на сахар. Не теперешний желтоватый прессованный из тростника, нет! На тот настоящий рафинад, что когда-то продавали большими, ослепительно белыми «головами». Их раскальвали специальным топориком и мельче, для стакана, раскусывали щипцами. Вы, нынешние, нут-ка! Кто из вас колот щипчиками настоящий рафинад?

Изольда пришла по делу, как считалось, вовсе не своему, а тётиному. Тётя Броня, толстая сорокалетняя девушка, постоянно занятая своими зубными протезами и озабоченная счастьем Изольды, однажды попала сюда, была очарована доктором и, мигом оценив состоятель-

ных пациентов, просторную квартиру и потенциальные возможности, тут же решила, что для любимой племянницы ей ничего не жалко. Преодолела слабое сопротивление мамы: «Да, да, все так, но возраст! Солидный же человек, а она совсем девочка!» – «Девочка? Конечно. Так пусть нашей девочке достанется хорошая жизнь!» – и разработала план: Изольда пойдёт к доктору, чтобы договориться о повторном приёме. Тётя «забыла» это сделать. Надо заметить, что она восхищалась, не кривя душой: был Марк, что называется, интересный мужчина, высокого роста и хоть уже понемногу тяжелел, но совсем чуть-чуть, почти незаметно. Шевелюра, правду сказать, тоже редела, так что ж её, на просвет разглядывать? А в глазах доктора пока светилося больше веселья, чем солидности. «Не всегда молодым девушкам нравятся юноши, зрелая мужественность тоже по-своему привлекательна», – рассуждала тётя. И хорошая квартира, и дорогой автомобиль, – добавлю я. Хотя как раз автомобиль у Марика был неприглядный, дешёвый. В квартиру надо попасть с разрешения хозяина, машина же на виду. Стоит ли привлекать внимание дорогими покупками, при скромной зарплате в районной поликлинике? «Но Изольда умная девочка и всё поймёт. Странно: влюбись ты в широкие плечи или красивые глаза, никто не удивится. И не назовут дурой! А оценив настоящие блага – солидность и обеспеченность, тут же прослывёшь корыстной и расчетливой. Но не всё ли равно, во что влюбиться? Важен факт!» – и это снова тётя. Её восхищение при маминой пассивной поддержке не пропало зря. Не какой-нибудь одноклассник, а настоящий мужчина! Изольда сидела у зеркала дольше обыкновенного. Была она, как и надлежит героине любовного романа, стройна и тонка, что не мешало в определённых местах быть надлежащим выпуклостям. Светлые полосы, ровно подстриженные надо лбом и с висков, падали на плечи, образуя раму для синих глаз. А в глазах сияло удивление миром, где всё ново и всё прекрасно. А будет ещё прекраснее! Она ждёт.

Доктор был очарован сразу и наповал. Он примет тетю, когда ей удобно, в любое, пусть и не в приёмное, время. Не в приёмное даже лучше. «В сопровождении племянницы, – он сказал это как будто в шутку, но надеялся, что примут всерьёз. – Пусть тётя придёт завтра!»

И тут Марк совершил каноническую ошибку: занятый пациентами (о, проклятая добросовестность частного!), он поручил Трофиму проводить Изольду домой. Боже, что он наделал!

Трофим уже был маленькой знаменитостью, пусть и только в своём районе. О, этот рок! Ох, эти «брэки»! Серые глаза и модная куртка на шипучках, а борода? Ах, борода, борода, борода!

Из поучений Фильки-саксофониста: «Если девушка говорит «нет» – отпусти её. Она или дура, или в самом деле не хочет». Но Изольда молчала, что, как известно, означает «да». В старом романе был ещё колдовской любовный напиток, и наш прозаический век без него не обходится. Но не ищите мрачную ведьму с таинственным зельем – напитки стоят в витринах, снабжённые этикетками. Они горячат кровь, укрепляют характер, придают смелость и приносят любовь. А головная боль – это завтра и только завтра, любовники будут стенать, прося у Амура прощения. Во все века стенали, не сомневайтесь. Но молчит Амур и поделом: не лакайте, что попало, да ещё и в неумеренных количествах. А главное, не смешивайте! Никогда не смешивайте, во избежание головной боли и отвратительной тошноты. Трофим с Изольдой всё сделали правильно. И напиток был выпит, и канон соблюден. Только не было моря. Но был старый парк!

...Стволы деревьев уходили в вечернее небо, а над кронами светили звёзды. Парк был похож на лес и в глубине деревья расступались, окружая поляну. На поляне вытянулась в небо ракета, готовая оторваться от деревянных опор. Сквозь проломленную фанерную обшивку можно было залезть внутрь, сесть на дно, смотреть вверх сквозь решётчатый нос, и если смотреть долго, небо приближалось, живое и подвижное, как в настоящем космическом полёте. Рядом стоял автомобиль, в котором, как и в ракете, не поместился бы взрослый человек, да и зачем ему? Разве может взрослый ездить в автомобиле, сколоченном из деревянных реек? Ещё здесь был паровоз и ящик с песком. Строй что сам захочешь. Развивай фантазию. А вокруг сто-

яли большие, удобные скамейки. Но город ждал иностранную делегацию, на скамейках белели таблички: «Осторожно. Окрашено». Оставалась лодка.

Каждый, оглядываясь на собственное детство, вспомнит её, «плывущую» по детской площадке. Подчиняясь вашим усилиям, лодка перекачивается выгнутым днищем с носа на корму и обратно. Раскачайте её ночью – звёзды будут приближаться, когда вы поднимаетесь вверх и улетать когда опускаетесь, будто проваливаясь меж океанских валов, а шум ветра в деревьях так похож на дыхание моря! Качнитесь раз, другой, третий, качайтесь долго, пока не почувствуете себя плывущим. Одно и то же действие приобретёт разный окрас, написанное в системе «кровь-любовь» или «зиппер-триппер» – тут уж кому что нравится. Трофим с Изольдой, лёжа на дне лодки, совершали известные движения, лодка раскачивалась и раскачивалась, а звёзды приближались и улетали, но кто в такие минуты смотрит в небо? А между тем, одна звезда мигала. Не к добру, надо полагать...

Потом они сидели рядом. Изольда положила голову Трофиму на плечо и замерла, а он про себя соображал, как бы вежливо намекнуть девушке, что дело сделано и пора по домам. Краем глаза ловил тени, мелькавшие в стороне – сначала он только видел их в отсветах фонаря и почти не обращал внимания. Потом услышал Слово.

Известно ли тебе, читатель, слово от которого миллионы людей вскакивают и срываются с мест? От него плачут и трепещут, оно ссорит почтительное чадо с любящими родителями, сильных заставляет плакать, а немощных почувствовать себя героями! Есть, есть могучие слова: война, любовь, землетрясение. Их звучание не сравню я с этим словом – гулким, как удар барабана и сверкающим, как сталь ножа. Его разом выдыхает сотня тысяч, и оно повисает в небе тяжёлым облаком взрыва.

Ты знаешь это слово, читатель. Это слово – гол.

Го-о-олл!!

А орущие и рыдающие называют себя болельщиками. Ещё их называют больными и даже «больными на голову», что безусловно неправильно грамматически. Говорят, однако, что на трибунах стадионов ежегодно умирает сто человек. От переживаний. Кроме тех, что погибают потом в боях за честь «своей» команды.

Что жизнь? Что смерть? Вопрос века – кто забьёт и кто пропустит!! Ваня Петров Пете Ванину или наоборот? Как выиграть? У болельщиков есть соображения и даже идеи, но соображения каждого одного в корне противоречат идеям каждого другого. Этот другой прозван болтом, хотя никто никогда не видел, чтоб у болта были свои, пусть и неправильные, соображения. Болт всегда держит и укрепляет то, что ему со стороны назначено держать и укреплять.

Болельщик точно знает, почему в прошлом – позапрошлом, поза-позапрошлом, поза-поза-позапрошлом и так далее – матче его команда проиграла: во-первых, тренер не учёл требования современного тотального футбола. Во-вторых, Губарь – Кузя, Медведь, Рыжий и так далее – всё это не имена, а клички. Болельщики зовут игроков кличками или, в лучшем случае, детскими именами: Вася, Жора, Золотарь, Франчо. Для иностранных команд нет исключений: Боб, Джек, Педро. Фамильярность считается хорошим тоном, как у американцев со своим президентом. Итак, Губарь не туда вышел, а Ваня уж точно не туда отпасовал. В-третьих, судья – не судья, а мыло. Заметьте: мыло, а не, скажем, болт, как другой болельщик. Грамотный человек никогда не путает: судья бывает мылом, болельщик болтом, а игрок это уже мазила. Или дырка, если он вратарь.

Разделение освящено традицией как смена караула у Букингемского дворца. Конечно есть и другие слова, не столь дифференцированные, но каждому ясно что их лучше не цитировать в художественной прозе без крайней на то необходимости. Итак, судья мыло и засчитал офсайд там, где его и в помине не было. Наконец в-четвёртых, поле было не сухим, а мокрым, и солнце светило не туда, а оттуда. Разумеется, болельщик точно знает, куда Губарю следовало выйти, куда Ване пасовать и откуда солнцу светить. Не говоря уж о ценных советах, которые

он дал бы тренеру, если б тот его выслушал. Но как я уже заметил, другой болельщик тоже всё знает и про солнце, и про пасс, и про тренера. Знает совершенно другое, более того – противоположное. С ним необходимо спорить, а споры болельщиков это вам не врачебный консилиум: они гораздо громче, они громче несравнимо, они почти как в парламенте, где тоже доходит до драк. Но в саду пока только орали. Даже томатным соком в лица не брызгали. И тут крики разрезал новый голос. Легко. Как нож режет масло.

– Какой счёт?

Простота вопроса потрясла эту академию футбольных наук. Упала тишина. Жужжал комар. Пауза тянулась, как резина в рогатке. Под фонарём в пятне света стоял человек, неизвестно откуда возникший. Костюм, белая рубашка, галстук умеренно-ярких тонов. Очки в тонкой золотой оправе подчёркивали холодную правильность лица, такое лицо может выражать собственное достоинство и служебное рвение. Кейс импортный, дорогой и такой же неприступный, как владелец. Но человек, его костюм и ботинки, букетик цветов и даже очки, всё было раза в полтора меньше обычного размера. И голос неожиданно громкий, послушный, хорошо поставленный, подчёркивал эффект.

– Ой! Клоун, – сказала Изольда.

– Кто?

– Клоун, – подтвердила она. – Клоун Константин. Я его в цирке видела.

– Какой счёт? – повторил человек под фонарём.

– Три-два, – проговорил кто-то, невольно подчиняясь голосу и строгому, в упор, взгляду сквозь очки. Но человек не успокоился. Повернулся к другому, проверяя: на всех ли действует?

– Кто играл?

Это было слишком. Даже не зная, кто играл, ты пристаёшь к занятым людям! Оставив без присмотра детей, отложив суетные мысли о работе и выпивке, о возможности новой войны и о яростной, до последней капли крови! – борьбе за мир, они пришли обсудить матч между командами Перу и Гондураса. А ты зачем явился, неуч, невежда, митрофан?!

Но голос действовал на всех. Глаза не допускали возражений. И был третий вопрос:

– Во что играли?

Рогатка выстрелила. Взлетел яростный рёв, но человека под фонарём уже не было. Никто не отметил его появления и куда он исчез, тоже не видели. Болельщики поняли, что над ними издеваются. И озверев, бросились друг на друга.

– Линяем, – сказал Трофим. – Сейчас приедут мусора.

3.

Трофим подходил к дому, тихо насвистывая. Изольда, конечно, дала телефон, но звонить вряд ли стоит. Поручение выполнено, девушку он проводил даже, так сказать, с перевыполнением, остальное – подробности. Дядя явно «попал». Совет им да любовь. «Как много девушек хороших...» Старая песня...

– Эй!

Мурыла считался квартальным хулиганом и встречи с ним, да ещё поздно вечером, боялись окрестные жители. По имени его звали только мама и участковый, остальные – Мурылой. С детства. Учительница показала в классе открытку. На картинке были дети. И назвала художника – Мурильо. Потом спросила, кто запомнил имя. Он поднял руку.

– Мурыла.

Все рассмеялись и он стал Мурылой. Прозвище. Кликуха. Погоняло. Было и другое, за форму носа, «чайник», его Мурыла не любил и услышав лез в драку, вертя на шпагате небольшую гирику. Хвастал, что гирику с маху пробивает череп. Черепов пробитых не видели, но желающих проверить не было. Поговаривали о ноже, которым он кому-то грозил и даже о пистолете, но слухи были туманные, точно же знали, что Мурыла верховодит такими же «оторви да брось» и один ходит редко. Верно, маячила рядом в темноте какая-то фигура. Трофим

пошёл быстрее, делая вид, что не слышит. Мурыла его догнал. «Ну, – сказал, загоразивая дорогу, – стой. Чё боишься?» Затянулся, бросил сигаретку на тротуар, ногой раздавил. Постоял, разглядывая Трофима.

– Зубы лечишь? – сказал Мурыла.

– Помогаю.

– Не в том дело... Меня лечить не надо, – он хохотнул. – Здоровый пока. Бабки гребёшь?

Конечно, дядя Марик не платил Трофиму. Было бы даже странно как по его собственному мнению, так и по мнению других родственников, платить родному племяннику, как чужому человеку. Он ведь не платит дяде за обучение! Да и нехорошо баловать мальчика. Мелочь «на расходы», бывало, подбрасывал. Даже вместе с подпольными концертами получалось не густо. Но Мурыла хотел денег, а не информации.

– Делиться надо, – сказал он. – Если хочешь по нашей улице ходить, делись!

Делиться было нечем. Да и с какой стати?

По созвучию имён то ли по сходству событий, но я всё обращаюсь мыслью к старому роману. Злобный враг Моргольт, как мы бы теперь сказали, терроризировал королевство Марка. Тристан победил злодея и стал первым рыцарем королевства. Увы, мой герой героем не был. Он в битву не рвался. Но и бежать было некуда!

– Нет у меня денег, – сказал он почти правду и сделал шаг, норовя Мурылу обойти. Но тот шагнул тоже и опять стоял перед ним, грозно сопя. «Проверим» – сказал он и полез Трофиму в карман. Трофим дёрнулся в сторону, споткнулся о подставленную ногу, растянулся на тротуаре. Мурыла сел на него, второй навалился на ноги и быть бы Трофиму крепко биту, но из-за угла показался автомобиль с синей милицейской полосой вдоль кузова. За эту полосу, похожую на конфетную обёртку, автомобиль называли «раковая шейка» И ещё «Алло, мы ищем таланты!» – в честь популярной телевизионной передачи. Бригаде повезло, «таланты» – вот они и один уже лежит. Другой талант, на первом сидя, заявляет, что подвергся нападению и только с помощью случайного прохожего еле усмирил хулигана. Верить ему трудно, однако случайный прохожий, так кстати тут оказавшийся, заявление подтверждает и других свидетелей нет. Если назначена тебе встреча с законом – в парке ли, на улице от судьбы не уйдёшь. Казалось бы, к счастью: встреча избавила Трофима от кулаков Мурылы, да что поделывать, если милиция – часть той силы, что вечно желает блага и часто творит зло?

Женщина-судья говорила по телефону, слушала Трофима, писала приговор и все три дела закончила одновременно. Трофим получил пятнадцать суток тюремного заключения именуемого, впрочем, уклончиво – административный арест. Согласно Указу Верховного Совета СССР. Никто не помнил, в котором году вышел Указ, но все знали, что в декабре месяце, и осуждённые по нему издевательски назывались декабристами. Ох, не напрасно мигала звезда, нет, не напрасно!

В камеру поместилось человек сорок, и в другую, поменьше, пятнадцать или двадцать женщин. Настоящими зеками они, конечно, не считались, но спали, как полагается, на нарах и у двери стояла «параша». От воли как, впрочем, и от всей остальной тюрьмы, их отделяла кирпичная стена с вышками и тремя рядами колючей проволоки над ней. «Попки» на вышках, однако не стояли: бежать мог только идиот. За побег давали срок небольшой, но уже настоящий. Конвоиры и надзиратели относились к своим подопечным без добродушия, но скорей насмешливо, и договориться с ними можно было о чём настоящему зеку и не думать: например, за пределами тюрьмы, скажем, подметая улицу, позвонить домой. Глядишь – мать или жена придёт повидаться и поесть принесут домашнего. Замечено, что самые заботливые жёны те, которые сами своих мужей и посадили за какую-нибудь домашнюю свару.

Посылали даже в городские учреждения, и это считалось самой большой удачей. Охраны там вообще не полагалось, арестованных сдавали коменданту здания под расписку. Он же не имел ни времени, ни желания за ними следить и тем более людей для этого не имел. Назначал

по хозяйству: двор убрать или вымыть полы. Справлялись быстрее и остаток времени проводили дома, возвращаясь обязательно к приходу конвоя, иначе грозили крупные неприятности. Главное – на глазах у тюремной охраны не качаясь миновать проходную. Внутри хоть падай, здесь ты дома. Отдыхай после трудов. Но такие работы распределял исключительно сам Степан Павлонович.

Плотный мужичишко в добротном офицерском кителе, но с погонами старшины, Степан Павлонович ходил по тюрьме, не торопясь. Неспешно и голову поворачивал большую с двумя неровными проплешинами, оглядывая хозяйство. Не был злобен без повода, однако же требовал от подчинённых и арестованных глубокого уважения к своему старшинскому званию, а также трепетного осознания важности дела и его, Степана Павлоновича, в нём роли. Иного толкования не то допустить – представить не мог, впрочем и сам относился к своим начальникам так же, враз теряя солидную повадку. Фигура его приобретала вопросительность и голос делался тоньше. Мировое устройство, в эту лестницу укладываясь, было понятно и удобно.

При солидности, был Степан Павлонович неожиданно смешлив. Бывало, запросто балагурил с конвоирами и даже с арестованными. Любил анекдоты, а один даже сам помнил и охотно рассказывал. Анекдот был такой:

«Поженились Петька с Ульяной. Отгуляли свадьбу, гости разошлись, молодым постелили на лавке – тут Степан Павлонович подмигивал и все улыбались. – Завозились молодые, стучит лавка. Взвизгнула Ульяна:

– Ой Петенька, не надо, не надо ой, умру я!

А дед с печки: «Давай Петро, давай, такого не бывает!»

А Ульяна своё:

– Ой Петенька, ой родненький, ой не надо, ой умру!

А дед: «Не бывает такого Петро, шуруй смело, не бывает того!»

А Ульяка:

– Ой, ой, ой, что ж ты делаешь, ой усерусь сейчас!

И тут дед тоже закричал: «Тише Петро, тише потому – это и в самом деле бывает...»

Рассказав, Степан Павлонович сам первый хохотал заливисто и поворачивал голову с двумя проплешинами, проверяя, как до кого доходит. И то ли анекдот был так хорош, но хохотали даже и конвоиры хоть слышали раз в десятый и более. Бывало, арестованные хотели отличиться и что-нибудь рассказать, в свою очередь. Степан Павлонович с удовольствием позволял. Люди, однако, попадались разные и случалось, рассказывали анекдот, которого смысла и юмора он не понимал. Виду не подавал и даже посмеивался, но про себя таких замечал: не хотят ли его, старшину, дураком выставить? Такого не забывал и не прощал.

Начальство занималось убийцами, ворами, растратчиками и всяким подобным людом, а Трофим «со товарищи» только и видели Степана Павлоновича. Он похваливал за хорошее поведение, он же и взыскивал с виновных: не всяк был тут вроде Трофима. Попадались настоящие драчуны, скандалисты, пьяницы. Мелкое, но вредное хулиганье.

Степан Павлонович был царь и бог.

Договориться с ним об облегчении участи самому арестованному было, однако, невозможно. До этого старшина не снисходил, имея дело только с родственниками на воле. Разговаривали, конечно, за столом, но в ресторан старшина не шёл, говоря, что считает для себя зазорным идти «туда, где всякая...». – Истина же была в том, что чувствовал он себя неуютно среди зеркал, мрамора и официантов. Они мгновенно отличали Степана Павлоновича среди настоящих посетителей и даже смотрели вроде свысока. От невозможности придраться, прикрикнуть, поставить «смирно» старшина робел, а робеть иначе как перед начальством было унижительно. И Степан Павлонович, презрев швейцаров в галунах и фонари у входа, шёл в столовую, где всё было как надо: и народ попроще, и запах борща из кухни, и столики пластмассовые. Спиртное в столовой запрещалось, что тоже было привычно: принесённую с собой водку

разливали под столиком в граненые стаканы и – ух! – в горло разом, будто её и не было. Незаконное распитие грозило теми же сутками ареста, но Степан Павлонович ухмылялся: во-первых, грозило, да не ему! – для своего высокого положения не предвидел он подобной участи, во-вторых, же, как человек простой, ценил народную мудрость и говаривал: «не пойман – не вор!» Кстати и выпивка, прихваченная из магазина, обходилась клиенту не в пример дешевле. Вообще, мзду он взимал умеренную и больше таксы за услугу не брал, поскольку почитал в себе порядочность и честность. Договорившись, произносил своё «будьте уверены» и слово держал твёрдо. Арестованный, за кого хлопотали, мог рассчитывать на работу в хорошем месте. Сам он, однако, должен был держаться умно: делать вид, будто об уговоре не знает, дисциплину соблюдать строго и, упаси Боже – без фамильярности. Иное старшина не прощал и тут же лишал всякой льготы. Повторные переговоры совершенно исключались и деньги, разумеется, пропадали, поскольку клиент был сам виноват.

Но дядя Марик за Трофима не хлопотал. Во-первых, рассудил, что не так страшны пятнадцать суток и не стоит обращать на себя лишнее внимание. Во-вторых, злился на мальчишку за какую-то драку – а знал бы всё? Ого! – и меры воспитательные полагал не лишними. В-третьих, ухаживал за Изольдой и тем был очень занят. Трофим отбывал «срок» не выходя с территории: подметал, чистил, убирал двор и коридоры. Поскольку было это последнее воспоминание с «воли», он всё возвращался мыслями к лодке, к Изольде и, представляя себе «как бы они... сейчас»... постелено распался.

Доктор принимал тётю, а Изольда томилась у телевизора. Марк ходил на кухню за горячей водой, которая, конечно же, была и в кабинете! – и туда-сюда носил инструмент, аккуратно прикрыв его салфеткой. Каждый раз проходя, улыбался Изольде. Сам проводил домой тётю и племянницу. То есть нарушая субординацию в интересах истины, надо сказать – племянницу и тётю. Но так ведь и было задумано!

Спрашивать у него Изольда не отважилась, но нашёлся мужской голос и был нанесён телефонный звонок. Доктор объяснил, что «... племянник срочно выехал к больному родственнику и вернётся через пятнадцать су... то есть, через две недели». В голову Изольде немедленно пришли десять важных и двадцать уважительных причин по которым он не успел, не сумел, не решился, наконец, найти её и предупредить о своём отъезде. Две недели можно было ждать. На формулу «пятнадцать суток» она не обратила внимания.

Марик ухаживал настойчиво и красиво – каждое из этих качеств может, как известно, покорить женщину. Притом у него были некоторые, скажем так, возможности. «Если вы платите женщине четвертак, она и любит вас за четвертак. Подарите ей норковую шубу, и она полюбит искренне!» – шутил доктор, конечно, в мужской компании и шуб случайным возлюбленным не дарил. Он не был транжирой, как не был и пошляком или циником. Он был наблюдательным человеком. И не зря же так долго разгуливал в холостяках! Умел элегантно доктор старомодно и обворожительно поцеловать даме ручку! Он покорила маму и подруг, не говоря уж о тёте с которой, как вы помните, всё началось. Но Изольда любила Трофима, и никто не догадывался об этом. Никто кроме, разумеется, тёти Брони. Тётя Броня уже знала всё, но и она ничего не могла изменить. Ни мама, ни подруги не могли склонить Изольду к замужеству с Марком.

Это сделал Трофим.

Наголо остриженный, безбородый, бледный, с тонкой мальчишеской шеей, он показался ей обыкновенным, тихим, незаметным... А на ушко шептали мама и тётя, а воздух был пропитан завистью подруг и рядом стоял Марк – настоящий мужчина и, как в старину говорили, кавалер. Чем сильнее разгоралась любовь Трофима, тем холодней становились глаза Изольды.

Свадьба была назначена.

4.

Это был большой день для всех, но для каждого по-своему. И начать его описание, справедливости ради, должен я с тётки Брони. Кто как не она хлопотал неустанно о нынешнем событии? С тех самых пор, как – «Я от Ивана Ивановича!» – вошла тётка в холл просторной квартиры на окраинной улице, ещё не вполне застроенной девятиэтажными близнецами. Кому, как не тётке Броне было известно всё и даже ночь в сквере на детской площадке? Она заслуженно царствовала сегодня здесь, командуя и перемещаясь, перенося и переставляя, сверкая огромным количеством зубов, сделанных по новейшей технологии из настоящего фарфора, может быть даже и саксонского. Для неё это был день счастливых забот: обожаемая племянница, почти её ребёнок и предмет постоянного восхищения, неминуемо будет счастлива. Боже, как она хороша! Как идёт ей свадебный подарок жениха – колье из бриллиантов, серьги на длинных подвесах и кольцо с камнем! Поистине королевский подарок, а Марик, сегодня он – Марк! Помолодевший, подтянутый, великолепный в свой большой день, в день безоблачного счастья. На его сильную и ласковую руку легко опирается тонкая кисть невесты. Впрочем, Дворец браков они посетили утром. Рука жены.

Изольда шла к свадебному столу и кружевная фата, символ невинности, плыла над её огромными, синими, удивлёнными глазами. С невинностью, однако, выходила накладка. Разумеется, Изольда не слишком рисковала: варварские обычаи, по которым «испорченных» до свадьбы невест, случалось, и просто убивали, к счастью, стали далёким прошлым в наши сексуально-демократические времена. Но Марк мужчина старой школы, вдруг ему не понравится?! Большой день Изольды мог быть подпорчен, и тётку Броню это всерьёз беспокоило. А я завидую древнему автору помня, как просто решил он ту же проблему: первой брачной ночью служанка Бранжбена заменила Изольду в супружеской постели. Что жених ничего не заметил – так и быть, ладно, король есть король, возможно в своём королевском величии он слабо различал подданных. Но и читатели поверили! А кто поверит мне, что Изольду подменила тётка Броня? Где тут реализм? Да я и сам себе не поверю, я ведь тоже один из вас. Но тётка выручила любимую племянницу, не нарушая современного литературного стиля. Сообразив, что каждый явный недостаток, диалектически содержит некоторое, иногда скрытое, достоинство. То же и размен единственного любовного напитка на множество, пусть менее ценных. Зато если средневековый рыцарь с возлюбленной выпили свою порцию, больше нигде ни капли не было. А теперь есть, притом сколько угодно! Столько напитков, что за ними можно забыть о любви, что и требовалось в ту ночь. Довела Марика до кондиции тоже тётка: каждому гостю она тихо, по секрету говорила: «пойдите выпейте с женихом, вы ему очень понравились». Польщённый гость шёл к Марику с бокалом и в спальне Марк мог узнать жену, но познать?! И ещё что-нибудь помнить утром? Ха! Слава тётке Броне! В большой день не нужны мелкие неприятности. Жизнь без контрастов гораздо удобнее.

Большим был этот день и для Трофима. Большим горем. Я не решусь утверждать, будто в его переживаниях вовсе уж и не было места уязвлённому самолюбию, но это лишь подогрело любовь и ревность. Что делать, слаб человек! Наши чувства и мотивации не всегда чисты, высоки и благородны. Растерянный и хмурый, Трофим молча шатался по комнатам. Не раздеваясь, лёг и отвернулся лицом к стене. Я не знаю, плакал ли он в ту ночь, в первую брачную ночь своего дяди со своей возлюбленной. Если да, прошу – поймите его. Не смейтесь над слезами мужчины, впервые в жизни преданного женщиной. Хотя втайне надеюсь, что он не плакал. Всё-таки приятно, когда и в трудный час мужчина остаётся мужчиной. И кому нужна была эта любовь? Холодно ему было в дядином доме? Если б не чертовы пятнадцать суток и мысли, перевернувшие всё, жил бы там, называя Изольду тёткой, хитренько с ней перемигиваясь за спиной доктора и мужа! А иногда... Эх! Не к добру звезда мигала, нет, не к добру!

Рано утром ушёл Трофим из дядиного дома. Куда было идти? А какая разница? Вот, скажем, цирк, чем плохо? По объявлению: «В оркестр требуется...» Трофим стал ударником

в цирковом оркестре и другом клоуна Константина. Ибо неопиту нужен опыт старшего а тот, знающий и умный, понимает: то чем поделился – своё.

Вторая глава

Разговоры на антресолях

*Я правую лапу
медведю пожав,
качнулся от страху
и сел на ежа...*

Самым интересным в цирке оказались не представления, а репетиции. Без цветных фонарей, праздничной лёгкости и взрыва аплодисментов. Ровный свет и деловая суета. В манеж выводят не обезьян и не тигров, а обыкновенных коров, уже прозванных остряками «группа Бени Му». Впереди рыжая корова с узкой головой и большими карими глазами.

«Какое интеллигентное лицо!», – артисты вокруг манежа смеются. Народу здесь много: кто-то ждёт своей очереди, другие уже отдыхают. Переговариваются. Репетирует Костя. Маленький и в клоунских ботинках «пятьдесят последнего» размера, он похож на треугольник, у которого стёрли гипотенузу. Над манежем не канат, а обыкновенная бельевая верёвка. Она провисает почти до пола, но Костя бежит от самого форганга – толчок, прыжок! Ботинок зацепил «препятствие» и клоун летит носом в опилки. Трюк старинный: так падал клоун и сто лет назад, и двести. А может и бродячий, шут где-нибудь в древнем Китае... Цирк стал взрослым, в номерах заняты десятки артистов, антре и репризы пишут драматурги, но неизменным остаётся неловкое падение клоуна. Как точка в предложении. Как финальный поцелуй в старом кино. Хорошее падение и аплодисменты заглушают оркестр! Трюк стоит в программе после акробатов, перед музыкальным эксцентриком. Униформа меняет реквизит, ковёрный отвлекает публику.

Трофим косится на Марту, Костину сестру. Ему кажется, что незаметно. Она сидит рядом. С братом они совсем разные. Марта высокая, почти как он, Трофим. И Костя родился большим, но потом вдруг перестал расти. А отец и мать были среднего роста. Не большие и не маленькие. Игра природы...

Коровы располагаются на манеже. Номер придумал дрессировщик медведей. На отдыхе придумал, в деревне. Соседская бурёнка щипала траву, подгибая переднюю ногу. «Ножкой шаркает, – удивился дрессировщик. – Глянь, барышня!..» И пошёл дальше. Но не просто пошёл. Задумавшись. А ведь и раньше такое видел! Кто ж не видел? Да-а...

И уговорил, убедил недоверчивых, но имеющих власть над цирком. Директор вынул ручку «паркер», привезённую из заграничной командировки, золотым пером провёл на докладной косую черту и пометил: «Бу. Нвзрж» Главный бухгалтер ворчал, стонал, долго перекадывал бумаги но знал, что директорское «не возражаю» на самом деле значило: «Приказываю». Бухгалтер вздыхал. Переживал бессмысленную трату государственных денег. Коровы?! Если бы тигры... Ещё вздохнул. Деньги выписал, коровы появились. Начинали с поклона, теперь это почти реверанс. Реверанс публике делает рыжая корова, потом она же вдвоём с чёрной, наконец, подруги раскланиваются между собой. В манеж вынесли стол для пинг-понга. Настоящий только вместо сетки перегородка со скатами на обе стороны. Дрессировщик подаёт мяч. Корова поддела мяч носом и отправила на поле противницы. Та послала назад и рыжая перекатила снова. Идёт полноценный матч с подсчётом очков. Приз – молоко в соске, похожей на маленький брендспойт. Получают обе, независимо от результата.

– Важна не победа, а участие, – констатирует старый униформист.

Костя меняет натяжение верёвки. Раз, раз, ещё раз и ещё. Прыгает, упираясь тросточкой, как прыгают с шестом спортсмены. По футболке расплываются влажные пятна. Его время кончилось, и место занимает жонглёр с булавами, а Костя, поднявшись по проходу, садится

во второй ряд за спинами Трофима и Марты. Фокус известен всем: ряды стоят амфитеатром второй выше первого, третий ещё выше и так далее. Костя «подтягивается» к окружающим. Устало прикрыл глаза. Отдыхает:

– Сплошной доход, – ворчит длинный иллюзионист в белых тапочках. Держит стакан с чаем, но не пьёт, а макает в чай клочок ваты и прикладывает его к покрасневшему глазу.

– Выгодные артистки, – повторяет он, – их же и доишь, их же и поишь!

Но дрессировщик строго поднял палец.

– Девушки! – произносит торжественно. – Исключительно девицы. Артистка должна беречь фигуру, – он гладит рыжую, и она благодарно мычит, качнув рогами. – Самая талантливая! – говорит дрессировщик гордо и ласково, как и должен отзываться режиссёр об артистке, если в труппе мир и доброжелательность, но это в искусстве редко. Артисты народ жестокий. Шутили даже, будто в знаменитый МХАТ художественным руководителем собирались назначить Бориса Эдера, дрессировщика львов. Он-де всё равно ходит на репетиции с пистолетом. Но в ЦК засомневались: Эдер. Не еврей ли? Назначили Ефремова.

Коровы отвечают на вопросы, кивая вверх-вниз «да» и вправо-влево «нет». Ещё танцуют вальс. Кружат не слишком грациозно, зато с явным удовольствием.

– Хорошо, – говорит Костя, – Но мало. Для номера мало.

– На нас не каплет, – возражает дрессировщик. – В работе медведи, с этими пока репетирую. Присматриваюсь к естественным реакциям. К движениям. Их и развиваем. Так продвигаемся. Постепенно.

– Все так продвигаются, – снова вмешивается иллюзионист, макая ватку в стакан. – Все действуют именно так, а наоборот школьные учителя и армейские сержанты.

Он только что демобилизовался и ещё не остыл от воспоминаний. На Костю смотрит снисходительно: пришлый. Со стороны. Много их стало. То ли дело он, потомственный цирковой! Про таких говорили «родился в опилках». Но и опилки на манежах теперь всё реже. Заменяют резиной.

– У сержантов тяжёлый материал, – ухмыляется Костя. – С медведями легче, а о коровах и говорить нечего!

Коровы вполне обыкновенные, но цирк это сальто-мортале: здесь обыкновенное необыкновенно, зато необыкновенное обыкновенно вполне. По манежу на ногах и головой вверх, это странно. Разве что, в обнимку с медведем? Другое дело на руках. Или на ногах по проволоке. На руках по проволоке, да ещё и под куполом – нормально! Карлики и гиганты, тигры и коровы, чужие и свои. Один ходит на руках, другой пишет, шьёт, стреляет ногами. Собака делает сальто, коровы играют в пинг-понг. Необыкновенность становится обыкновенной, повторяясь ежедневно, точно как накануне. В театре каждый день играют чуть иначе, чтоб не «заболтать» роль, не превратить её в механическое повторение. Но что будет с вольтижёром в номере «воздушный полёт», сыграй ловитор «чуть-чуть иначе»? А если тигр не поймёт команды дрессировщика? Переспросит?! Чтобы понял, надо «как вчера». Роли неизменны. День в день. Клоун может позволить себе импровизацию. Костя позволял и это иллюзионисту не нравится. Дрессировщику нельзя, фокуснику нельзя, значит и клоуну тоже нельзя, так он считает. А то что ж ему нельзя, а другому можно? Нет уж, фигурки!

В манеж вывели медведей, и народ стал расходиться. Медведем цирк не удивишь. Говорят, он коварнее тигра и тем более лентяя льва. У тех сразу видно: зол и вот-вот кинет подлянку! А толстый мишка с доброй мордой, когда не ждёшь, как раз и цапнет. Не зубами, так лапой. Рабочий вынес и положил на барьер «шутильник» – двухметровый стальной прут, с поперечиной на конце. На поперечине зубья. Современная школа дрессуры отрицает насилие и запугивание. Животное следует приучать к работе лаской и вниманием. Но шутильник в репетиции присутствует обязательно. «Для всякого крайнего случая». Потому как, против естества не попрёшь: медведь, он и есть медведь!

Костя пошёл в душ и Трофим тоже собрался уходить, но вдруг почувствовал, что кисть Марты слегка касается его пальцев. Показалось? Если это случайно, почему она не убирает руку? И чуть поглаживает его пальцы тыльной стороной кисти. Тихонько, ещё не веря себе, он взял руку Марты в свою и чуть сжал. Она тоже сжала пальцы. Друг на друга они не смотрели, оба по-прежнему смотрели на манеж...

2.

Костина квартира отделана неярко, солидно. На полу ковёр с длинным ворсом, по стенам обои геометрического узора в сочетании светлых и тёмных тонов, однако не очень светлых и тёмных тоже не слишком. На стеллаже книги старых изданий, толстые переплёты блестят золотым тиснением. Всё дорого хорошего, строгого вкуса, только на торцевой стене, свободной от пола до потолка, пятном висит размалёванный коврик. На коврике замок. Серые каменные стены, углом вперёд сторожевая башня, на башне воин в кольчуге с боевым топором, впрочем, больше похожим на плотницкий. Воин приложил руку ко лбу и смотрит вдаль. «Фининспектора ждёт?» – спросил Трофим. У крепостного рва перед башней раскинулось неведомое, но безусловно экзотическое растение, тут же и красавица-русалка с рыбьим хвостом вместо ног. Груды её торчат красными сосками огромными, как головки бронебойных снарядов. Такие коврики сработанные артельными умельцами, украшали когда-то деревенские избы, заводские общаги и каморки домашних работниц, но были осмеяны за пошлость и дурной вкус. Хозяйка, устыдясь деревенской своей необразованности, выбросили коврики, сожгли, пустили на тряпки, а вместо них повесили иллюстрации, вырезанные из журналов «Огонёк» и «Работница». Артели распались, кустари поменяли специальность. Тогда начали охоту за ковриками эстеты и интеллектуалы. Кич стал модой, артельщиков сменили спекулянты и хвостатые красавицы победно вернулись на кухни, где, вместо исчезнувших домработниц, обитали теперь хозяйка, тут же и принимая гостей. Старьё искали на барахолках, скупали всё, что владельцы забыли выбросить и теперь взвинчивали цены. Спекулянты добавляли, но эстеты платили. Цены поднимались ещё выше, но мода требовала, и платили всё равно. Хорошо шли также самовары, часы-ходики, рогатые телефоны начала века и керосиновые лампы. Это было уже «ретро» и стоило не дешевле кича. Костя ограничился ковриком, зато повесил его не на кухне, а в комнате, оградив пространством голой стены, как рамой. И не понять было, уничтожает коврик строгую элегантность комнаты? Или подчёркивает?

История, одолев Гутенберга, двинулась к телевизионным сериалам, но тогда ещё, слава Богу! – до них не дошла.

Гремела музыка – испанская гитарная быстрая. Марта ритмично двигалась по ковру, и Трофим любовался ею. Любовался, а не просто смотрел и Марта понимала это, видела, чувствовала. Шла через такт, затягивая движения, как пловец, преодолевающий сопротивление воды. Пластика её была пластикой крупного тела: чуть ленивая, мягкая, будто катается внутри ртутный шарик, не встречая угловатостей или резких поворотов. Марта шла, покачивая бёдрами, узкие кисти, чуть шевелясь, отсчитывали ритм и жили в нём. Глаза, прикрытые наполовину веками, всё равно огромны. Она скользила – не ходьба уже, но ещё и не танец. Или всё-таки танец?

Менуэты и мазурки прошедших столетий были точно расписаны. Известные заранее фигуры в определённом порядке разом по команде распорядителя, как на параде выполняли танцующие. Согласно регламенту. Регламент был в танцах, в карьере, в сословной принадлежности. Дворянин танцевал менуэт, крестьянин плясал трепака. Первый мог стать маршалом или епископом, второй трактирщиком или бродячим актёром. Никогда наоборот. Ну, почти никогда. Сословный регламент в редчайших случаях нарушался – танцевальный, кажется, нет. Позже в мир явился вальс, а на государственную службу разночинцы. Это казалось концом истории, а было началом нового времени, предвестием небывалого смешения сословий и чудовищного, сладострастного, развратного аргентинского танго. У человека менуэтных времён

танго вызвало бы, пожалуй, инфаркт, называемый тогда «разрыв сердца». Его потомки лечат разрыв сердца, называемый теперь «инфаркт», а танго видится им строгим, даже чопорным. В нынешнем танце каждый сам придумывает фигуры, которые хочет и может выполнить. Танцуют в зале, в комнате, на чердаке. В современном доме чердака может и не быть? Тогда на плоской крыше. В парке, на пляже? Пожалуйста! Костюм годится любой: фрак, пиджак, тужурка, джинсы, шорты. Плавки? Тоже сойдут. Танцуют втроём, вдвоём, в одиночку, а также большим, дружным коллективом. Если коллектив не очень дружный, всё равно танцуют. Никто ни от кого не зависит и распорядитель, там, где он есть, занят тем же и вместе со всеми. Можно танцевать в такт, можно и через такт. Важен характер музыки, если вы захотите с ним считаться и ваше настроение. Много можно сказать о сегодняшнем человеке, увидев его танцующим. Танец свободен, можно сказать демократичен и это прекрасно. Но как потеря несёт в себе приобретение, так и приобретение содержит потерю. Потерял танец былую торжественность. Жалеть ли об этом?

Вытянув вверх кисти, Марта медленно опускала руки, прикрывая лицо предплечьями, потом локтями, потом ладонями. Когда и ладони опустились ниже подбородка, тряхнула головой, и вперёд упали волосы. Она любит закрывать часть лица. Волосами, шарфом, воротником-стойкой. Рукой. Зачем? Молчит. Молчать она тоже любит. Стоит, чуть раскачиваясь. Понял? Нет? Догадывайся.

Трофим потянул её к себе, и она легко поддалась, опускаясь на ковёр. Воин так же из-под руки смотрит на них. Губы русалки приоткрыты, язык пошевеливается там, в глубине...

Марта поднялась и стоит у стены. Слушает музыку. Трофим по-прежнему лежит на ковре – длинный. Взял в руки стопу Марты. Целует медленно, долго. Борода щекочет ей пятку. Марта, смеясь, пробует отбиться – он не отпускает. Целует левую потом правую так же долго. Ставит их рядом на ковёр, кладёт сверху голову. Музыка гремит испанская гитарная быстрая. Воин смотрит, не отрываясь.

Услышав, что в двери поворачивается ключ, Марта приподняла стопу и осторожно сдвинула его голову на ковёр. Опять засмеялась и так же, ногой, толкнула. Он откатился, но не встал. Теперь валялся вверх лицом и раскинув руки. Костя, не уверенный, что его услышат, долго кашлял в прихожей, что-то перетаскивал, шумел. Наконец, вошёл в комнату. Оценил происходящее и – стал на голову. Свечкой. Развёл ноги, закружился медленно. Музыка смолкла, и Марта негромко запела. Простую мелодию, вроде колыбельной. У неё был низкий голос, слишком мощный для маленькой комнаты. Она пела, смотрела на них и улыбалась. Трофим тоже улыбался. И улыбался Костя, стоя на голове.

3.

Корабль светился, как хрустальный графин. Манил комфортом кают, ласкал подогретой водой бассейна, дышал площадкой для солнечных ванн, гремел оркестром. Всё это великолепие, увенчанное сине-бело-золотым капитаном, покачивалось на ленивой воде Чёрного моря – днём зеленоватой, к вечеру красной и, соответственно названию, чёрной в южной ночи. Море шептало, рокотало, пело и ни разу не раздался его устрашающий рев. Корабль шёл медленно и плавно, справа до горизонта светилась вода, по левому же борту тянулись горы, дальние отроги заснеженного Кавказского хребта здесь, у моря приглаженные и мирные. Их вершины от солнца порыжели, склоны оплешивели и горы были похожи на старых облезлых верблюдов, караваном идущих навстречу кораблю по самому берегу, обходя небольшие скопления белых домов, рассеченных улицей. Где домов много, кораблю полагалась короткая стоянка. Все сходили на берег размять ноги, почувствовать землю, осмотреть достопримечательности – последнее особенно влекло туристов с палубными билетами. Палубные бодро карабкались по каменистым тропам, громко распевая:

Умный в гору не пойдёт, не пойдёт, не пойдёт,

Умный гору обойдёт,
Вот!

Это было чистым лицемерием, потому как песня была туристская, автор наверняка ходил в гору и был уверен, что на самом деле умный это он и те, кто ходит в гору с ним вместе. Между стоянками туристы жевали фрукты и лепёшки, купленные на дешёвом здешнем базаре, запивали молодым вином, тоже базарным и дешёвым. Экзотики ради, Изольда с Мариком тоже пошли на базар и даже купили какую-то съедобную мелочь. Но в корабельном ресторане их встречал мэтр и сам вёл к столику. Не слишком близко к оркестру, чтобы музыка не оглушала, но и не очень далеко. В углу из которого можно зал окинуть взглядом чувствуя себя, как бы отделённым от публики. Мэтр знал своё дело, а Марик умел производить впечатление.

Программу начинал певец высокий, худощавый брюнет с усиками, начинал одной и той же, модной в том сезоне, песней: «Ты ушла, и мне на память остался портрет твой, работы Пабло Пикассо...» Это было трогательно, и герой так грустил! Хотя, честно говоря, не так уж мало ему осталось на память. В центре зала танцевали, а вокруг Изольды носились официанты, очарованные красотой жены и щедростью мужа. Щедрость оплатят пациенты, которых здесь, слава Богу, нет. Надо же когда-то и отдохнуть!

Может быть, это началось в пещере, точно уже никакой Энгельс не выяснит: человек не то что записывать не умел, он и помнил плохо. Зачем помнить, если не можешь рассказать? Р-р-ы... «Что было? Р-р-ры-ы... Когда было? Ры!» Наш предок умел мало – приземистый и тощий с низким лбом и длинными руками. Имел он тоже немного: мощную челюсть и способность жить, не тоскуя по комфорту. Он просто не знал, что это такое. Терпеливо ждал милостей от природы, не пытаясь взять их без разрешения. Жизнь продолжалась, если была удачной охота. Бились на равных – каменный топор против звериного клыка, тяжёлая дубина против когтистой лапы. Человека ждали голодные родственники, зверя тоже. Каждый хотел сделать из другого мясо, и шансы были «фифти-фифти». Считать предок тоже не умел тут у них с противником, опять-таки, сохранялось равенство. Жить вместе они не могли, но и разделяясь, померли бы с голоду. Возможно, это и назовут когда-нибудь единством противоположностей? Тогда подобных слов ещё не было. Никаких слов не было, даже неприличных! Ах да, ведь и приличий не было. А была первобытная ночь, и ветер шумел в девственном лесу. Тяжело падал дождь, близко выли дикие звери. Мужчины вернулись с охоты усталые и мокрые. Женщины не бросились к пище: матриархат уже кончился, им полагалось вести себя прилично. Охотники разорвали тушу отобрав себе лучшее, остаток женщины делили с детьми. Люди племени ели вместе, как и жили. Это ещё не называлось «промискуитет» и пока всех устраивало. Редкий мужчина помнил, какую соплеменницу, как волк волчицу, поставил вчера на четвереньки: звериная поза считалась естественной, относились к этому просто и чужими делами не интересовались. Насытись, охотник рыгнул, бросил наземь шкуру и растянулся на ней. Он заслужил отдых! Но его толкнули, пришлось открыть глаза. Рядом стояла женщина. Смутно припомнилось, будто именно с ней, как-то после еды... р-р-ры-ы! Это ещё не повод для знакомства. Сегодня он не хочет. Р-р-ы. Пусть идёт к кому-нибудь другому. Он отвернулся, но женщина снова растолкала и знаками показала: «встань!» Мужчина вскочил и схватил дубину... Оглянулся. Всё спокойно, все храпят. А женщина тащила шкуру к стене. Стена защищала от ветра. Охотник издал звук, что когда-нибудь, в результате эволюции, станет хохотом. Что он, дитя?

Но под шкурой уже лежал плоский камень, образуя возвышение для головы. И обмакнув палец в остатки звериной крови, женщина обвела место чертой. Он всё сильнее хотел спать, но вид шкуры, отделённой красным, был, почему-то, приятен. Хм-м. Волосы женщины украшены рыбьей костью, а ноги, кажется, длиннее, чем у других... Надо её запомнить, и, может быть, в следующий раз... Р-р-р-ыы... Он лёг, заняв только половину шкуры. Женщина легла рядом. Это ещё не её постоянное место, это пока. Так думает он. А она думает иначе. Но

теперь на шкуру смотреть приятнее. Теперь у него лучшее место в пещере. И может не стоит отправлять женщину к кому-нибудь другому? Да-а. Пройдут, опять-таки, века. Глубоко и все-сторонне изучив прелести семейной жизни, люди напишут великие книги где, на следующем витке цивилизации, оживёт мечта об общих жёнах. Это будет называться утопией и в реальной жизни уже ничего не изменит.

Кооперативная пещера Марика и раньше была вполне комфортабельна. И всё же было здесь мужское, суровое логово. Хотя мясо и коньяк хозяин добывал не в лесу и не дубиной, всё равно был он охотник, и жилище его было жилищем охотника утилитарным, целенаправленным, неудобным. Самая выразительная деталь домашнего интерьера блестящее металлом и кожей зубоврачебное кресло. Теперь в шкафу повисли платяца такие лёгкие, что дунь и полетит! Цветной шарфик валяется в совершенно неожиданном месте, явно разрушая порядок, но загадочным образом придаёт квартире жилой и уютный вид. Телефон потерял строгость и тайну: кроме деловых переговоров с намёками и умолчаниями, понятными только сообщ... пардон... собеседникам, теперь велись долгие душевные разговоры с мамой, тётёй, подружками. О жизни, о сердечных делах, о кино. И о другом тоже.

Конечно, продолжалась охота. От неё по-прежнему зависит жизнь, хотя и жизнь, и охота выглядят совсем иначе. Но Марк понял, что жил до сих пор пусто, неудобно, холодно.

Каждый из трёх замков на двери толстой, окованной металлом, обитой дерматином снаружи и кожей изнутри, каждый из трёх замков запёрт на два поворота ключа. На окнах плотно сдвинуты шторы. С тротуара сюда не заглянешь, из дома напротив тоже. Лампа укрыта абажуром, кресло поблескивает сталью. Тихо. Шипит газ в переносной горелке. Изольда поворачивает на огне слиток. Потом он медленно остывает на воздухе. Так отжигают золото, из которого сделают зуб. В литейной формочке. Помните гипсовый столбик, дальше которого Трофим так и не пошёл?

Я уже говорил, как опасна была тогда частная практика. Но трижды опаснее было делать зубы золотые. Хотя именно они есть признак солидности и благообразия. Золото самый долговечный, не подверженный порче и окислению, что ни говорите, благородный! – материал. Всё это, однако, понятия житейские. Юридические же установления суть кодексы, законы, а также и правительственные указы однозначно запрещали гражданам обработку ценных металлов и паче торговые операции с ними. Ибо известно, что золото развращает. Заботясь о нравственности, государство разрешало работу с золотом только самому себе. Покупку его, буде кто, в стеснённых обстоятельствах или по иной причине вынужден продать и продажу тем, кто, повысив благосостояние, купит. Государство продавало золото гражданам втрое дороже, чем у них же его покупало, но за свою нравственность было спокойно, твёрдо зная, что развращение опасно только другому государству. Моё рассуждение может показаться длинным и запутанным, но читателю, желающему проникнуть в суть времени и вопроса, необходимо его усвоить и понять. Называется это «историчность подхода» и отличает образованного человека от дилетанта. Добавлю, что нравственность граждан поддерживалась мерами строгими, суровыми и даже крайними. Меры эти, к тому же, сопровождалась изъятием у виновных, или признанных таковыми, принадлежащих им ценностей как то: золота, платины, а также и драгоценных камней. Изымалось и прочее любое имущество. Изъятие было, разумеется, безвозмездным и называлось конфискацией. В отличие от грабежа, то есть того же действия, но производимого частным лицом. Мне автору настоящего повествования сроду не владевшему драгоценностями, приходилось, однако, вчуже наблюдать судебную тяжбу за металл называемый «благородным» или «презренным», смотря по обстоятельствам. Все известные мне бои выиграло государство. Противник нёс тяжёлые потери: имущество, свободу и даже самоё жизнь.

Это, конечно, знал и Марик. Свято почитая «правило столба», он избегал неприятностей. Но всегда ли так будет? Марик твёрдо решил взять риск на себя и не вмешивать жену в свою деловую жизнь. Так решил мужчина. И опять женщина решила иначе.

В приёмной, конечно, и раньше были журналы, и стоял телевизор сначала обыкновенный, а позже цветной. Но теперь появилась ещё и внимательная, милая хозяйка – не чета Трофиму с его вечно отсутствующим взглядом. А походочка? Он же дёргался на ходу в такт воображаемой музыке! На любой вопрос, в том числе и насущный «скоро ли?» – был теперь немедленный ответ если не вразумительный, то утешающий. А чашка чаю, согревшая больной зуб? А приветливая улыбка? Нигде не оценят их выше, чем здесь. Первым оценил Марик и, как человек практичный, оценил в денежном выражении, считая, что этого требует простая справедливость: пациентам становилось легче от одного появления синеглазой Изольды. Настоящие мужчины, стуча, сдвигали каблуки и даже у некоторых дам прояснились лица. Хотя скептики утверждают, что последнее невозможно при виде другой женщины. Если, конечно, она не урод.

Изольде нравилось играть в хозяйку. Она себе казалась взрослой и солидной, а на самом деле была просто любопытной девчонкой и от этого любопытства всё больше и больше погружалась в работу мужа. Постепенно разобралась, многому выучилась и стала помогать, не ожидая указаний. Шутя научилась делать гипсовые заготовки а, потом и несложные отливки. Приступила к настоящей работе и наконец к работе с золотом. Марик пробовал возражать, но что мог он против улыбки и просящего взгляда? На ходу поправлял ошибки, но скоро и в этом отпала надобность. Он получил помощника, о каком не мог и мечтать. Техническую работу Изольда делала днём, пока муж был в поликлинике. И шторы сдвинула от чужих любопытных глаз. Надо признать что предосторожностей было значительно больше, чем требовала суровая действительность. Ну и что? Изольда была ещё так молода! И любила книжки про шпионов.

Марк был счастлив. Он не читал утопий.

4.

Рыжая корова Офелия чувствовала себя отвратительно. Целый день она лежала на подстилке, тупо глядя в пустой угол. Сегодня все её раздражало: болтовня попугаев, крики обезьян и даже собачий лай привычный, кажется, ещё с деревенского детства. Медведи! Такие сильные и страшные, а визжат, как поросята. И слон. Что слон? Подумаешь, есть у него хобот. Так и надо трубить во всю мочь? Зачем, спрашивается?

Офелия не любила чужих языков. Почему бы, не выучить всем такое мелодичное, интеллигентное «му-у»? Чем плохо? Нет, каждый хочет самовыражаться!

Я не утверждаю, что корова думала именно так. Вообще неизвестно, думают животные или только чувствуют? Но умей Офелия думать или чувства свои выражать словами, получилось бы, приблизительно, так как я написал. И если вам кажется, что это слишком похоже на человеческие мысли, так ведь уже известно, что была Офелия корова не обыкновенная, а цирковая. Притом, талантливая. Жила она, как и другие коровы, в слоновнике, где совсем не обязательно живут одни только слоны, а бывает и целое общежитие. Слоновник в любом цирке самое большое помещение, а в новом здании был велик на диво и очень высокий. Чего там слон – жираф потолка не доставал! Чтоб кубатура зря не пропадала, под потолком соорудили антресоли, разгородив их на ряд каморок, где стояли сундуки набитые чем угодно: откуда знать какой номер придумается завтра? Что для него будет нужно? Мир не видел больших барахольщиков чем цирковые: на всякий, всякий, всякий случай хранят всё, всё, всё. И Костя с Трофимом, который вызвался ему помочь, долго рылись в запасах: авось неожиданная находка подтолкнёт фантазию. Будет новое антре или реприза. Но ничего интересного не попадалось. Не помогала и подкова, повешенная на стену. Костя сказал, что она прибита неграмотно, дугой вверх. Оказывается, подкова приносит удачу, если висит вверх разъёмом, а вверх дугой напротив, только вредит. Кто-то по невежеству везение у них, можно сказать, украл. Закрыв крышку, они придвинули сундук к стенке и вышли из каморки в проход, оставленный по краю антресолей. Проход вёл к лестнице и был ограждён перильцами, на которые маленький Костя положил подбородок, а длинный Трофим локти. Огромное помещение было видно им от стены до стены. В углу действительно жил единственный слон, пристёгнутый цепью к стальному крюку,

вмурованному в стену. Слон тяжело переминался с ноги на ногу, вздыхал и дёргался, пробуя вытащить крюк из каменной кладки. Но крюк сидел прочно и цепь тоже – слон опять вздыхал, поднимал хобот и трубил. Что ужасно не нравилось Офелии. Тут же рядом стояли клетки медвежьего цирка, и ещё подавал голос огромный бегемот Кукла. Он тяжело ворочался в клетке и громко вздыхал, тоже Офелию раздражая. Дальше было ещё хуже: Дрессировщик Миша привёл незнакомого человека. Чужой подходил плавно и медленно, будто не просто двигался, а торжественно нёс перед собой чувство собственного достоинства. Заигрывать с коровой не пробовал, но почему-то был уверен в своём праве на общение и Миша всё ему разрешал: глядеть Офелии в глаза, чего она не переносила, шупать живот и сосредоточенно гладить нос. Нос, к счастью не её, а свой собственный, он гладил медленно длинными, прямыми пальцами. Нос тоже был длинный, но не прямой, а горбатый. «Мефистофельский» чего корова, даже талантливая, разумеется, знать не могла. Ещё он водил рукой перед её глазами и это не было похоже на пассы дрессировщика непонятные публике, зато ей, Офелии, ясные абсолютно. Чужой уселся рядом на раскладной стул, и ей вставили в зад скользкую, холодную, длинную штуку. Она сказала «му-у» и качнула рогами, возражая. Но Миша приказал, и она покорно опустила морду на солому. Корова не знала что в заду у неё термометр и горбоносый приглашён к ней, потому что он знаменитый на весь цирк ветеринарный доктор кандидат наук и доцент Глеб Алексеевич Решкин.

Говорил доктор, как и двигался медленно, выговаривал слова протяжно и в нос, к тому же делая неожиданные паузы. Рассуждал о болезни коровы, о химических процессах и действии лекарств, об интересных особенностях коровьего организма. Миша поначалу слушал, но не будучи доцентом, нить рассуждений скоро потерял что, впрочем, было несущественно потому что Решкин ответа не ждал и даже к корове, время от времени, обращался. Говорил он автоматически, как всегда протяжно и в нос. Глеб Алексеевич был интеллигент и помнил что-нибудь обо всём на свете, а механическое говорение на любую тему помогало ему сосредоточиться. Все цирковые это знали, Миша, разумеется, знал тоже и продолжая делать вид, будто внимательно слушает, на самом деле ждал когда, на минуту замолчав и подумав, Глеб даст краткий, точный совет. Тем временем доктор покончил с темой пресечения беременности посредством ножных ванн – способ, который он явно не одобрил и заговорил о новом фильме, коснувшись мимоходом оккультной науки хиромантии. Костя комментировал Трофиму этот монолог, объясняя, что фильма Решкин не видел и гадать по ладони умеет не он, а жена, но и та знает только линию жизни да холм любви; Глеб же черпает сведения из книг и разговоров, дополняя собственными соображениями. На этой основе создаёт он концепции, которые, будучи выстроены и обобщены, переходят в разряд теорий, далеко не всегда безобидных, как кино или хиромантия. Например, узнав, что йоги свободно ходят по раскалённым угольям – надо лишь убедить себя что угли не жгут и гуляй, закаляя пятки а через них весь организм! – он собрался было попробовать. Знакомые ветеринары и даже настоящие медицинские врачи никакими доводами переубедить его не могли, он ссылался на неисследованные возможности народной, китайской, индийской и прочей медицины /термин «альтернативная» тогда ещё не употребляли/. Осталось впрочем неизвестным сколь серьёзны были на самом деле его намерения, не зря же был он старым приятелем Кости, лгуна и выдумщика! Ибо дорогу к экспериментам в их практическом воплощении преградила жена заявив, что не шла к Решкину во вдовы.

Жена Решкина Вероника Помпеевна была женщина решительная и в очках. Очки постоянно сползали, Вероника Помпеевна возвращала их отработанным жестом, тыча в переносицу белый палец с кроваво лакированным ногтем. Очки ползли снова, она повторяла жест. Очки держались недолго и раздражённая Вероника Помпеевна, вновь и вновь тыча пальцем, шумно возмущалась чем-нибудь, попавшим в её поле зрения. Баритон жены – иные называли его октавиальным басом, но заглазно: кто бы посмел сказать это вслух?! – так вот, её баритон единственно заставлял Решкина умолкнуть даже и посередине фразы, к тому же умолкнуть

относительно добровольно: Бог с ним, если тебя не слышат собеседники, но если сам себя перестал слышать?! Вероника Помпеевна перебивала супруга не стесняясь и вообще поглядывала свысока на что я, автор, пренебрегая мужской солидарностью, вынужден признать её право или, во всяком случае, некоторые, скажем так, основания. Ибо семье нужен глава и тут Глеб Алексеевич явно пасовал. Конфликты и домашние проблемы разрешала жена – Глеб с трудом отвлекался от высоких материй. Так было во всей истории семьи, а также и в её предыстории с тех пор когда Ника с Глебушкой во дворе детского садика пускали бумажные кораблики по весенним лужам, не прозревая до поры будущего совместного плавания в бурных водах житейского моря. Правда иногда, чуть улыбаясь, Вероника туманно намекала что это, мол, Глеб «не прозревал». Ей-то всегда всё было ясно и прозрачно. Что делать? Такой уж она человек, наша Вероника Помпеевна. И таков её девиз, гласящий «раз и навсегда». Презируя мелочи, подробности, препятствия и недостатки. Создающие неудобство или, потому как нынче в моде импортные выражения, дискомфорт. Костя утверждал, что Вероника в юности написала воспоминания и хочет прожить по ним жизнь. С домашних проблем всё только начиналось, выходя, как это всегда бывает, в большую жизнь. Не умел Глеб воздействовать на окружающих своим немалым научным авторитетом, а также и талантов дипломатических, был начисто лишён. В отношениях с младшими сотрудниками это выражалось недопустимой с их стороны фамильярностью, опять же, недопустимой по мнению Вероники Помпеевны. Глеб Алексеевич не то чтобы возражал против фамильярности или с ней соглашался – он её не замечал, полагая естественным в науке равноправием. Ещё хуже было в отношениях с начальством: кривые пути к положительным резолюциям были ему неведомы и потому доставались Глебу исключительно ссылки в научных журналах а, скажем, большие квартиры улучшенной планировки получали другие. Что в глазах Вероники также было недостойно мужа и отца семьи. Он мог вылечить слона, попугая, носорога – стадо баранов, наконец! Глеба Алексеевича уважали в научном институте, в цирке и в зоопарке, на его статьи ссылались даже японские ветеринары – иероглифами. И только жена вздыхала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.